

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6
КТК 610
Ш 57

Шикера С.

Ш 57 Выбор натуры : [роман]. — М. : Флюид ФриФлай, 2019. — 416 с. — (Книжная полка Вадима Левенталя).

Главный герой книги — бывший кинорежиссер, которому вдруг выпадает шанс вернуться в профессию. Шанс, однако, оказывается призрачным, в отличие от неприятных, странных, сбивающих с толку обстоятельств, которые наваливаются на героя одно за другим. Само место действия романа, Одесса — оказывается не всем известным городом анекдотов, шаланд и кефали, а мерцающим, мистическим, едва ли не inferнальным пространством.

ISBN 978-5-906827-47-0

© С. Шикера, 2019
© ИД «Флюид ФриФлай», 2019
© П. Лосев, оформление, 2019

I

Свеча на столе догорала, а другой в доме не было. Сараев перевел взгляд на гостя, еще раз попытался его вспомнить и не вспомнил. Он опустил лицо и с наслаждением закрыл глаза.

Как только подсевший к нему в «Виктории» моряк, загадочно улыбаясь, произнес: «Вы Сараев, Андрей Андреевич? Режиссер? Вы меня, конечно, не помните...», — Сараев сразу же его оборвал и заявил, что будет вспоминать сам, без подсказок, и показывал моряку ладонь всякий раз, когда тот порывался объяснить-ся. Он лишь позволил незнакомцу назвать род занятий и имя, только имя. Звали его Павлом. Лет ему было около тридцати. «Не торопись. Вспомню. Само выскочит», — успокаивал Сараев. Глядя на моряка, он думал, что мог бы забыть и двухметровый рост, и грубое лицо, и грустную многозначительную усмешку, в которую то и дело складывались мясистые губы, и черную, как вакса, щетину на широких щеках, но уж эти хрустально чистые карие глаза с длинными ресницами вряд ли бы

бесследно исчезли из памяти. Что-то тут было не так. Из закрывшегося подвала они, прихватив вина, поднялись к Сараеву домой, где уже сутки не было света, и вот в родных стенах, в темноте его развезло.

— Ну что, не вспомнили? — спросил моряк.

Сараев, не поднимая головы, дернул плечами. Ему уже было все равно. Возможно, знакомство было столь мимолетным, что и вспоминать не стоило.

— Я Павел Убийволк, мальчик с фокстерьером, — сказал моряк. — Помните такого?

Сараев некоторое время сидел неподвижно, потом размеренно закивал. И подумал: пора это прекращать, а то они летят и летят ко мне изо всех темных углов, как дурная мошкара на свет. Зачем они мне? Я их не звал. Спать.

Мальчика с фокстерьером и с грозной фамилией Убийволк он вспоминал утром, стоя с чашкой кофе у окна. Да, «мальчик с собакой», эпизодическая роль в его втором, незаконченном фильме. Едва начатом фильме... Ух ты! У самых глаз за окном, как из воздуха, появился дятел. Быстро оббежав и облетев дерево и ни разу по нему не стукнув, он меньше чем через минуту упорхнул. Платан за окном стоял так близко к дому, что взгляду открывалась только срединная часть его необъятной кроны. Кривизна покоробленных долгим зноем листьев и многочисленные рыжеватые шары на длинных черенках сообщали ему в эту пору дополнительную узорчатую нарядность. Не дать ли этому красавцу имя, подумал Сараев и тут же набрал их с де-

сяток: Борободур, Бранденбург, Бахчисарай, Будденброк, Баальбек, Бомбей... Неизменная начальная «Б» подчеркивала богатырскую мощь дерева, а перечень имен, скорее всего, был навеян рассказами мореплавателя Убийволка, пестревшими чужеземными названиями.

Вчера Сараев немного перебрал. Не много, но перебрал. Состояние теперь было так себе. Не похмеле, слава богу, а всего лишь легкий озноб да время от времени набегавшая тень беспричинной тревоги. Ну и никуда не девшийся скверный осадок — деньги, на которые Сараев вчера начал пить, чтобы от него избавиться, он выпросил накануне у случайного собутыльника. Позавчера вечером подвал был полон, и трое юношей сели за сараевский стол. Такие аккуратные, хорошо одетые молодые люди в «Викторию» заходили не часто, разве что выпить по внезапно свалившемуся поводу или отметить случайную встречу. Заведовал столом, то есть бегал к стойке, веселый говорливый паренек, полнеющий, с наметившимися залысынами; он же попутно угощал Сараева. Однако просить деньги Сараев решил не у него, а у неприятного брюнета с холодными глазами и румянцем цвета ветчины, с которым он несколько раз безуспешно пытался заговорить. Всего противней было, что своей жалкой просьбой Сараев почему-то еще и надеялся расположить к себе надменного юношу, вызвать у него сочувствие, даже симпатию. Что-то такое в сбивчивом сараевском обращении тот, очевидно, уловил и, про-

тягивая новенькую бумажку, вложил в ленивый жест и в сопровождавшую его ухмылку столько брезгливого презрения, что Сараев еще с четверть часа, пока компания не ушла, сидел, виновато улыбаясь, держа купюру между пальцами, не решаясь сложить ее и спрятать в карман.

Такой вот кусающий себя за хвост зеленый змий: унижаться, чтобы было на что завтра это унижение залить... Ладно, что уж теперь вспоминать. Было и было. Бывало и не такое. Просто надо завязывать с этим пьяным попрошайничеством, постепенно входящим в привычку.

Одевшись, Сараев по заведенному недавно вновь обыкновению подошел к зеркалу. Долгое время он заглядывал в него лишь мимоходом и за летучими процедурами — пригладить волосы, поправить заломившийся воротник рубашки — не успевал толком себя рассмотреть. Теперь, когда с легкой руки продюсера Вадима начались встречи с «нужными» людьми, к чему готовиться приходилось чуть тщательней, чем к походу за хлебом, Сараев едва ли не заново привыкал к своему отражению. Все последние месяцы он сидел сиднем, дряхлел, оплывал, внутренние часы, казалось, отсчитывали уже шестой десяток, подбираясь к середине, и тут на тебе — всё тот же юношеский габитус и то же молодежавое лицо, по которым его тотчас узнавал любой, перекинувшийся с ним двумя-тремя словами четверть века назад. Разве что чуть прибавилось седины. Не Дориан Грей, конечно, но и не безнадежный пенсионер

с одышкой и угасшим взором, каким он себя ощущал. Некоторой мешковатости, впрочем, нельзя было не заметить. Что с его образом жизни и при отсутствии в доме утюга было неудивительно.

II

С улицы натянуло бензиновой вони, и пришлось открыть входную дверь.

Обуваясь, завязывая шнурки, Сараев чувствовал, как набрякают, тянут голову еще ниже складки во-круг губ и сами губы, отекают и будто увеличиваются щеки... Нет, не Дориан Грей. Снял с вешалки рюкзак и вернулся в комнату. По жестяному навесу над балконом шумно, как будто проверяя его на прочность, топтались голуби.

Опять на неделю раньше, чем следовало, закончились деньги (вот уже второй месяц, как они стали уходить быстрее, хотя трат вроде бы не прибавилось), и Сараев решил навестить своего старого друга Прохора, торговавшего книгами на Куликовом поле.

Вся, когда-то вполне приличная, библиотека теперь умещалась в единственном книжном шкафу. Сараев достал из него черный трехтомник Гофмана, потом, немного подумав, снял с нижней полки плотный, увесистый, отпечатанный на мелованной бумаге фотоальбом с видами итальянской Лигурии и без всякого сожаления, беспокоясь лишь о том, чтобы книги

заинтересовали покупателя, уложил их в рюкзак. Сам он, с тех пор как год назад испортился телевизор, разгонял скуку старыми, купленными еще лет двадцать с лишним назад энциклопедиями и справочниками и ничего другого, кроме них да иногда газет, не читал.

Уже оказавшись у двери, Сараев вернулся на середину кухни и некоторое время простоял, упершись взглядом под ноги. Потом, придерживая у бедра рюкзак, опустился на корточки и еще какое-то время разглядывал пол под собой. Наконец поднялся и вышел.

Запах бензина шел от стоявшего под балконом бежевого, ладного, с низкой посадкой грузовичка. Молодой загорелый рабочий в красной косынке стягивал с кузова мешок за мешком и перебрасывал их на подоконник раскрытого окна, из которого неслись гулкие сердитые голоса. Сараев невольно приостановился, задумавшись о том, насколько тоньше теперешнего был его детский нюх. В станице Беспечной, где они с матерью проводили каждое лето, сын хозяев часто подкатывал к воротам на зилловском самосвале, и Сараев смог бы и сейчас с закрытыми глазами отличить запах подбитых жирной грязью широких крыльев над огромными колесами от запаха самих колес. Или радиатора. А уж сколько разных было в кабине! Всегда горячее дерматиновое сиденье, резиновый коврик под ногами, оплетка руля из цветной телефонной проволоки, плюшевая бахрама под потолком и, наконец, бардачок со всем неисчерпаемым содержимым. И, кажется, все они, тонкие и грубые, приятные и не очень, до сих

пор в первозданном виде хранились в памяти. Но вот сейчас, стоя у распахнутой двери грузовичка, он ничего, кроме обобщенного запаха разогретого металла да того же бензина, не чувствовал.

На книжных развалах Прохора уже могло не быть, и Сараев решил идти к нему домой, на улицу Щепкина; звонить не стал из опасения, что тот перенесет или отменит встречу.

Двадцать лет назад Прохор (Игорь Прохоров) в составе осветительной бригады работал на первой картине Сараева и начинал с ним вторую. Немногословный подтянутый молодой человек, не бравший в рот спиртного и каждую свободную минуту нырявший в книгу, выделялся на фоне нетрезвой осветительской братии. Так же, на расстоянии, он держался и со всей прочей киностудийной публикой: дружбы ни с кем не водил, в застольях участия не принимал, в работе был подчеркнуто вежлив и исполнителен. Его ежегодные попытки поступить учиться на режиссера не имели успеха ни в Москве, ни в Питере, ни даже в Киеве. Приятелями они стали уже после того как Сараев уволился со студии по собственному желанию — поступок, которым Прохор долгое время не переставал восхищаться.

В самый разгар известных исторических событий, когда по живому перекраивалось всё и вся — от государственных границ до убеждений и биографий, — Прохору вдруг улыбнулась (да еще как широко!) удача. В режиссеры тогда дружно повалили актеры, сцена-

ристы, операторы — все, кому было не лень и кто мог дотянуться, вплоть до помрежей и ассистентов. Представителем от осветителей стал Прохор. Ходили слухи, что для этого ему пришлось завести роман с одной влиятельной, немолодой киевской дамой. Так это было или нет, доподлинно неизвестно (Сараев, например, сам побывавший жертвой подобных слухов, предпочитал сомневаться), но как-то очень уж быстро Прохор получил добро на постановку, и картину запустили в производство. Она, кстати говоря, поначалу обещала нечто грандиозное. В основе сценария лежала история бунта украинских заключенных в каком-то гулаговском лагере. География съемок намечалась обширнейшая: Сибирь, Москва, Западная Украина, Париж, Мюнхен, Монреаль и даже, кажется, Северная Африка. В финансировании обещала принять участие украинская диаспора в Канаде, среди проявивших заинтересованность актеров назывались мировые звезды первой величины, а оператором вроде бы должен был стать сам великий Витторио Стораро. Баснословный, по слухам, бюджет фильма хранился в строгой тайне. Сараев иногда встречал Прохора в тот период. Около него уже постоянно вились шумные молодые люди, паслись, стуча каблуками, долговязые девицы, а сам он, казалось, навсегда расстался с молчаливой замкнутостью и, распространяя вокруг себя запахи коньяка и хорошего трубочного табака, говорил много и охотно. Кстати, тогда же он предложил Сараеву идти к нему вторым режиссером (Сараев отказался), а несколько

позже, в одну очень тяжелую для Сараева минуту, оказал ему неоценимую услугу — одолжил на неопределенный срок довольно приличную сумму без расписки и процентов, как тогда повсеместно было принято. Деньги Сараев, к счастью, быстро вернул, но, как говорится, благодарность в своем сердце сохранил навсегда. Постепенно, в ходе подготовительного периода и по мере приближения к съемкам первоначальные грандиозные замыслы существенно полиняли. Заметно сузилась география, изменился актерский состав, а приготовленное для Витторио Стораро место за камерой собирался занять Дмитрий Корягин, работавший с Сараевым. Дело в кино обычное. Впрочем, даже и в таком виде размах оставался нешуточным. И вот, когда, казалось, всё, вплоть до дурацкой тарелки, которую почему-то принято разбивать об камеру в первый съемочный день, было готово, сверкнула молния и грянул оглушительной силы гром: жулик продюсер (тогда это слово только входило в обиход) снял со счета вторую выделенную на фильм, основную порцию денег и исчез с нею в неизвестном направлении. На этом всё и в один миг закончилось. Следующие несколько лет Прохор потратил на то, чтобы повторить попытку. И хотя, знакомясь, он по-прежнему представлялся режиссером, еще одного шанса им стать у него так и не появилось. А ведь на что только он не был готов ради этого. В какой-то момент он даже радикально перешел на мову, а чуть позже из Прохорова превратился в Прохорчука, попутно обзаведясь вышиванкой, мор-

жовыми усами и мрачным взглядом исподлобья. Тогда же он стал Сараева сторониться. При встречах говорил мало, неохотно, а то и вовсе проходил мимо, отделившись коротким кивком. Сараев не обижался. «Возвращение к корням» (или к «истокам»? как-то так это тогда называлось) продлилось у Прохора около двух лет и, не принеся никаких результатов, завершилось одной громкой во всех смыслах историей. В ту зиму в центре Одессы, в дополнение к неряшливому вечно пьяному ряженому козаку с люлькой, появился фольклорного вида тендитный хлопчик с раритетной и весьма дорогой, с его же, правда, слов, бандурой. Щадя по возможности редкий инструмент, он только время от времени осторожно пощипывал коченевшими пальцами струны и что-то еле слышно мурлыкал себе под нос. Зима набирала силу, желающих попридержать шаг, не говоря о том, чтобы остановиться и послушать, становилось всё меньше, и надо было видеть, с каким восторгом на посиневшем, сжавшемся в кулачок личике вскакивал наш бандурист всякий раз, когда какой-нибудь замотанный по самую макушку иностранец с зашедшего на полдня в Одессу круизного судна изъявлял желание с ним сфотографироваться. В обычные же дни ему бросали какую-то жалкую мелочь, и, разумеется, не за невнятное музицирование, а исключительно из сострадания. Многих еще сбивали с толку наряд и бандура: слушать его, как было сказано, никто не собирався, а подавать как нищему не приходило в голову. Этого-то хлопчика и приютил у себя на Щепкина

Проخور, остановившийся однажды перед ним эдаким строгим, насупившимся Кобзарем. Под каким предложением и на каких условиях это произошло, неизвестно; поговаривали о разном, слухи ходили вплоть до самых игривых, но верной была, скорее всего, версия, что за теплую койку паренек должен был помогать Прохору делать ремонт в квартире. При этом рассказывали, что Проخور его даже и не кормил толком, и потому днями тот всё так же продолжал сидеть на Дерибасовской или на Приморском бульваре. Тихо и мирно они прожили с месяц, как вдруг однажды ночью, в самом начале весны, из квартиры Прохора, переполошив соседей, во всю мощь грянула песня Петра Лещенко «Моя Марусечка». Тут же понеслись крики, шум и грохот. Потом из распахнутого настежь окна на грязный мартовский снег полетела обувь и какие-то тряпки, и собирать их высочил полуголый босой бандурист с окровавленным лицом. А через минуту во двор бодро и целеустремленно вышел и сам Проخور с уникальной бандурой, которую он, сняв с плеча, двумя ударами разбил в щепки о ближайший угол дома. История попала в криминальную хронику, и Проخور нажил себе врагов среди местных националистов, попытавшихся привлечь его к уголовной ответственности за вандализм. После этого им была предпринята попытка уехать и закрепиться в Москве, также закончившаяся фиаско. В Одессу он вернулся злой как черт и вскоре занялся книжной торговлей. Неудача с режиссурой, да еще в такой близости от успеха, Прохора подкосила. Было видно: человек

сломлен. На первого попавшегося он теперь выливал столько желчи, что встречаться с ним еще раз не хотелось. В очередной раз он воспрянул во время событий на киевском майдане. С их началом он отбыл в Киев, и Сараев дважды видел его по телевизору: в первый раз Прохор, перевязанный по лбу ярко-оранжевой лентой, остервенело колотил палками по железной бочке, а уже через две недели, представленный титром «полевой командир», давал интервью (он опять изъяснялся мовой). Однако и с политической карьерой что-то у него не заладилось (о чем ниже), и спустя несколько месяцев Прохор вынужден был вернуться в Одессу.

Они никогда не ссорились, просто само течение жизни разносило их все дальше друг от друга. В последний раз они близко сошлись, когда Сараев продавал квартиру на Пастера и искал другую. Вдруг появился откуда-то прослышавший об этом Прохор и предложил свое посредничество. Не всё, как потом оказалось, было чисто в той сделке, но Сараеву не хотелось в этом копаться. Денег он получил достаточно, чтобы купить то, что ему понравилось, а оставшуюся их часть положить в банк. Всё.

III

Он застал хозяина за обедом. В халате на голое тело тот ел борщ и время от времени вскакивал и мешал в сковородке на плите второе блюдо. Ел шумно,

неряшливо, то и дело бросая ложку и вылуцывая следующий зубчик чеснока. Первым делом, как только они вошли в кухню, Прохор выпил стопку водки и спрятал бутылку в холодильник. Сараева, день которого не так давно начался, этой ударной триадой — борщ, водка, чеснок — в первую минуту так и оглушило. (Хотя от водки, если бы ему предложили, он бы, наверное, не отказался, а там, глядишь, дошло бы дело и до остального.) Во всем поведении Прохора, в его беззастенчивых манипуляциях с бутылкой, в грубом и звучном заглывании, в постоянном почесывании груди и недавно заведенных бакенбардов, в громком стуке ножом о край сковородки сквозила мрачная нарочитость. Гостям тут сегодня явно были не рады, и на хорошую цену книг можно было не рассчитывать. Рядом с Сараевым, в дополнение к духоте и запахам, надсадно гудел разболтанный компрессор, качающий воздух в заросший мхом аквариум с горящей внутри лампочкой.

— Я тут кое-что принес... — начал он и потянул за лямку рюкзака на полу.

— Это ты зря, — остановил его Прохор. — У меня денег нет.

— А в долг?

— Да никаких нет.

Собственно говоря, можно было и уходить. Теперь Сараев жалел, что сунулся без звонка.

— Ну а как вообще жизнь? — спросил Прохор, в очередной раз становясь у плиты, чтобы помешать в сковородке. — Говорят, ты кино собрался снимать.

— Громко сказано: «собрался». Есть кое-какие соображения...

— А что ж ты молчишь?

— Так я же говорю: зыбко всё очень. Одни разговоры.

«Вот оно в чем дело, — подумал Сараев, — и так откровенно...»

— Сглазить, что ли, боишься? — насмешливо произнес Прохор.

— Нет, не боюсь. Ты же меня знаешь.

— Да вот, выходит, не очень.

Прохор выключил газ, отнес и поставил сковородку на стол, потом достал из холодильника водку, налил и вернул бутылку на место; водку, не отходя от холодильника, выпил.

— И о чем кино? — спросил он, возвращаясь за стол.

— Пока не знаю. Еще и сценария нет.

— В общем, что скажут, то и снимешь.

— Посмотрим. Есть, на всякий случай, одна идея, но пока рано говорить.

— Ну, если рано, то не говори. Еще украдут. Кругом уши, уши! — Прохор, вытаращив глаза, побросал по кухне испуганные взгляды. — Ладно. Не хочешь говорить об этом, скажи тогда такую вещь. Давно хочу спросить. Как ты думаешь, вот где сейчас все эти наши былые отшельники — помнишь? — все эти сторожа, кочегары, дворники? Бескомпромиссные культурные герои. Куда подевались? А ведь какие борцы были! Бесребреники. И что? Где они? Чего это все так сдулись?

— Может, и есть где-то... я не интересовался. А ты что, по ним соскучился? Или ты это сейчас меня имеешь в виду? — спросил Сараев. — Так я никогда и не был никаким героем. Ты же знаешь мою историю.

— А какая твоя история? Насколько я помню, ты вроде бы бросил кино, потому что решил, что это не твое. Разве нет?

— Ну? — с неохотой произнес Сараев, уже понимая, куда Прохор клонит.

— Так это я тебя спрашиваю: ну? И что случилось?

«Какого черта!» — возмутился Сараев. Вот уж кому-кому, а Прохору со всеми его виражами и петляниями, со скоростным слаломом на крутом историческом спуске лучше было бы помолчать.

— Я что-то не понимаю. Что ты хочешь сказать? что я роняю себя в твоих или еще чьих-то глазах? — сказал, усмехнувшись, Сараев; вместо легкой усмешки получилась горьковатая.

— Да какое мне дело, что и перед кем ты там роняешь! Ты разговор-то в сторону не уводи. Я же совсем о другом говорю.

— О чем?

— Ну чего ты дураком прикидываешься? Ты, может быть, думаешь, меня тут зависть душит? Да я только за! Пока есть придурки, готовые швырять деньги на ветер, надо этим пользоваться. О том, что ты сварганишь, скорее всего, какую-нибудь убогую серую херню, мы ведь спорить не будем? Это ведь и так понятно, правда? Да и что ты еще можешь снять после двадцатилет-

него перерыва и при твоей любви к кино? Так что ни твоему богатству, ни будущему громкому успеху я не завидую. Успокойся. Ты лучше на мой вопрос ответь.

— Прохор, что ты хочешь? Тебя интересует, почему я когда-то из кино ушел, а теперь вот решил снимать?

Прохор сидел, вполоборота повернувшись к Сараеву, положив локоть на спинку стула. Ядовито улыбаясь, он восхищенно покрутил-покачал головой.

— Вот же вы всё-таки народ, а!.. до последнего извиваться будете. Пока шею рогатиной к земле не прижмут и по голове не дадут. Я тебя о чем спрашиваю? С самого начала спросил. Что изменилось?

— Где?

— Да хоть где! За окном, на улице, в головах, в мозгах, в мире! Почему раньше у таких, как ты, заколачивать любимым способом деньги считалось западло, а теперь нет? Что изменилось?! Вот для тебя. Объясни. Количество денег? Значит, всё дело было в цене?

Сараев еще раз подивился и откровенности Прохора, и его вопиющему лицемерию. Впрочем, и то и другое, кажется, вполне им осознавалось и как-то по-особому его будоражило.

— Во-первых, я ничего для этого не делал. Мне предлагают, я соглашаюсь, — ответил Сараев.

— Во-первых, я тебя не об этом спрашивал. Ладно, допустим. А почему ты не соглашался двадцать лет назад? Ведь тоже предлагали? Бросил фильм и ушел. А сейчас вдруг... Что произошло? Случилось что-то экстраординарное? Может быть, во сне к тебе явился Бергман и сказал «иди и снимай»? Или, может, тебя возбу-

дило то, что твоя бессмысленная солдатская дребедень где-то там вошла в какой-то список? Ну так ты же разумный человек, должен понимать, что твоей вины никакой в том нет и заслуга тут исключительно твоего оператора, Мити Корягина.

Сараеву становилось тошно от этого разговора.

— Ладно, пойду я, — сказал он, поднимаясь.

— А может, ты вдруг перестал быть бездарью, какой сам себя двадцать лет назад признал? — не отставал Прохор.

— Нет. Не перестал, — мрачно ответил Сараев. Это было как-то совсем грубо, нехорошо.

— А тогда что? Не хочешь отвечать? Или не знаешь, что ответить?

— Когда-нибудь отвечу. Сейчас не могу. Появилось кое-что. Для меня очень важное. Пока можешь мне просто поверить.

— С чего бы это?

Сараев пожал плечами.

— Не знаю... просто по-дружески поверь, и всё.

И Сараев пошел прочь.

Он уже выходил на улицу, когда услышал за спиной: «Стой!» Прохор в развевающемся халате вбежал в подворотню и с размаху метнул Сараеву его рюкзак — сорвавшийся с ладони, он ударил в низкий свод подворотни и шлепнулся между ними.

— Баракло свое возьми! — крикнул Прохор. — И запомни: мои друзья не принимают у себя этого подонка и негодяя Резцова, понял?

Сараев смотрел на него во все глаза.

— А ему, тваренышу, передай, что он по краю ходит, я не шучу! — добавил Прохор и, запахнув халат, зашагал было обратно во двор, но на полпути обернулся и, выбросив указательный палец, прокричал: — И ты тоже, если ты с ним заодно!

IV

Так его еще никто не провожал. Это что такое было?!.. Ну и ну! А эти допросы, попреки? Нашел ба-ловня судьбы! Да знал бы он о том черном, бездонном, всегда и повсюду... Во внезапном движении за правым плечом ему почудилось стремительное приближение Прохора в халате, и — мимо медленно проехал велосипедист — он едва не выкрикнул: «Ты мне еще не всё сказал?!»

Сараев терпеть не мог улицу Преображенскую, — всегда людную, шумную, замусоренную, тонущую в автомобильном чаду и в прогорклой вони ларьков с быстрой едой, — но спохватился только на переходе через Троицкую. И тотчас всё, из-за чего он обычно обходил Преображенскую стороной, обрушилось на него с удвоенной силой. Он прибавил шаг. Окна в домах напротив одно за другим вспыхивали отраженным солнцем, а при повороте на Успенскую оно само, грузно висевшее над густым многослойным шатром из софор и акаций, яростно шархнуло в лицо. Он прошел еще немного и свернул наконец на тихую Кузнечную. Ну да:

заодно и душу отвести — кто ж утешит лучше, чем недруг твоего обидчика. Кстати, а откуда Прохор знает, что Резцов иногда заходит к нему по субботам, возвращаясь со Староконного рынка? Следит он за ним, что ли? Да он и в самом деле, кажется, не в себе...

Резцов ждал в мастерской каких-то важных заказчиков, но, услышав, что Сараев пришел к нему от «окончательно взбесившегося» Прохора, решил уделить ему несколько минут и, быстро приготовив кофе, вышел с ним в палисадничек.

Некоторое время и в те же самые годы Резцов работал на киностудии декоратором, но там его Сараев не запомнил и познакомился с ним уже как с модным художником на несколько лет позже. Это случилось на открытии его выставки в Художественном музее, куда Сараева привел всё тот же Прохор, в то время ближайший друг Резцова. Благодаря одному происшествию Сараеву хорошо запомнился тот день. Из музея пошли отмечать открытие в мастерскую Резцова (тогда она у него была на Княжеской). За пестрой толпой знакомых художника увязался некий гражданин, по виду из младших научных сотрудников, инженеров или что-то вроде этого. Смущенно улыбаясь, он зашагал рядом с Сараевым, очевидно почуяв в нем такого же новенького. Лысина, очки и портфель придавали незнакомцу вид тяжеловесной солидности, особенно на фоне богатой публики, хотя лет ему было не больше тридцати пяти. Конфузливо посмеиваясь, он вертел головой, поправляя то и дело очки и донимал Сараева вопро-

сами. Всё это, видно, было ему в диковинку. Сараев как мог удовлетворял его любопытство. В просторной мастерской, куда они пришли, висели работы, мало отличавшиеся от выставленных в музее, — те же парящие в воздухе человеческие конечности на фоне каких-то руин. (Прохор шутил, что его друг в детстве стал свидетелем взрыва бани, и его картины — результат той, неизжитой до сих пор, детской травмы.) В мастерской предполагаемый научный сотрудник стремительно и тяжело напился, и менее чем через час в смежной комнате вслед за несколькими громкими возгласами послышался шум плотной возни, а в следующее мгновение оттуда вывели взъерошенного и почему-то мокрого с головы до пят самозваного гостя, который, оказывается, располосовал ножом по диагонали одно из полотен. Все время, пока его тащили к выходу, он упирался ногами, пытался прорваться обратно и, хватая за руки вышибал, громко, горячо говорил: «Я вас прошу! Я вас умоляю! Этого не должно быть! Это всё надо уничтожить!» У самых дверей он ухитрился кого-то укусить, устроил еще одну свалку, а потом отчаянно визжал, пока его выталкивали за дверь. В памяти Сараева, как на фотографии, запечатлелся бледный неподвижный Резцов, скрестивший на груди руки и молчаливо наблюдающий за происходящим.

Почти все девяностые Резцов провел в Америке и к началу нулевых вернулся в Одессу. Некоторое время помыкавшись без жилья и работы, он постепенно возобновил былые связи и стал работать на заказ, день ото

дня набирая популярность у богатых одесситов. Но уже не изображениями самодовлеющих членов, а вполне традиционными пейзажами, натюрмортами и портретами. И всё бы ничего, когда бы не категорическое нежелание Резцова по возвращении говорить об американском периоде своей жизни. За все время с момента приезда он не обмолвился об этом ни словом, в возникших при нем разговорах о загранице или эмиграции неизменно отмалчивался, а если уж слишком настойчиво пытались его втянуть, мог даже развернуться и уйти. Кто-то назвал это эмигрантским посттравматическим синдромом. Такое странное поведение очень располагало к всевозможным домыслам и импровизациям, и вот как-то раз во время одного пьяного застолья Прохором в шутку было высказано предположение, что упорное молчание его товарища объясняется тем, что тот в Америке работал мальчиком по вызову. Еще раз: сказано было в шутку, в довольно узкой и притом нетрезвой компании, среди прочей пьяной чепухи, которая забывается на следующий день, если не в тот же самый. Но когда до Резцова дошли эти слова, он просто рассвирепел. Просто рассвирепел. Тут же были разорваны отношения со всеми, кто тогда выпивал с Прохором, а сам он был на веки вечные проклят. Эта свирепость навела многих на мысль: а не угодил ли Прохор случайно в самую точку? Несколько запоздало понял свою оплошность, кажется, и сам Резцов, и это его еще больше распалило. Прохор не один раз, и сам, и через общих знакомых, в том числе и через Сараева,

пытался извиниться и каждый раз нарывался на новые оскорбления. В конце концов от постоянных неудач в наведении мостов он расвирепел ничуть не меньше Резцова, и между ними установилась та самая лютая, не знающая границ и приличий, не остывающая ни на минуту ненависть, которая, кажется, только и может возникнуть между некогда близкими друзьями. Увы, с годами она не становилась слабее, а как бы и не наоборот. Но если Резцов жизнь вел довольно замкнутую, неделями не вылезая из мастерской, так что и придумать про него что-нибудь было трудно, то зигзаги и метания Прохора были как на ладони и давали обильную пищу для всевозможных толков. Отвечать Прохору было нечем. Как-то раз он выставил за копейки сразу в нескольких галереях города картины Резцова, которых у него скопилось за время их дружбы больше десятка. Задумка была интересная — сбить цены, — но закончилась пшиком: все работы были чуть ли не в тот же день выкуплены автором. Резцов тоже старался своего не упустить. В этом смысле оранжевые гуляния на киевском майдане явились для него, хотя бы и задним числом, событием не меньшим, чем для Прохора, принимавшего в них живейшее участие. Резцов с самого начала утверждал, что вечно озабоченный по женской части Прохор отправился туда исключительно с целью «пощупать под шумок молодого мяса». А позже (Прохор только вернулся из Киева) Резцов, ссылаясь на свидетельства очевидцев, будто бы найденные им в сети, стал рассказывать, что «полевой командир» Прохор

был одним из тех, кто ведал снабжением революционных масс презервативами. За это он получил там неблагозвучную кличку, якобы ставшую в числе прочего серьезной помехой для его дальнейшей политической карьеры, поскольку трудно всерьез относиться к человеку с таким прозвищем. (Резцов даже сочинил шараду: «Мой первый слог — английское название того, за чем тянулась Геббельса рука, второй — великая и тихая река. Сложи их вместе и получишь в сумме партийный псевдоним Прохорчука».) Мало того. По утверждению Резцова, просто упивавшегося этой историей, большая часть подконтрольной Прохору специфической гуманитарной помощи напрямик шла из его рук в аптеки, ларьки и ночные клубы: «Гандон хапнул там капитально, да еще и делиться не захотел, за что его и прогнали». На робкие возражения того же Сараева, дескать, как-то совсем незаметно, чтобы Прохор стал хоть немного богаче, Резцов отвечал: «А откуда нам знать? Может, он всё там же в Киеве в казино просадил. Или припрятал на время. Или его там же на месте соратники раскулачили, — и бодро добавлял: — Ничего. Докопаемся». Когда Прохор вернулся из Киева, дело между ними несколько раз едва не доходило до драки. Резцов в своем весе комара, разумеется, ничего с Прохором поделывать не мог и, только завидев, предпочитал ретироваться. Тем яростнее становились его новые атаки.

Сараев сблизился с ним в последние полтора года, с переездом на Молдаванку, да и то только потому, что каждую субботу Резцов ходил на Староконный рынок,

пройтись по барахолке, и иногда на обратном пути заходил попить чаю.

Пока Сараев рассказывал о визите к Прохору, маленький кучерявый Резцов, поглядывая на ворота, ходил по палисаднику. Положив на стол несколько грецких орехов, один из которых был еще в плотной, лопнувшей крест-накрест коже, сел.

— Ну, что тебе сказать? Наш друг сейчас очень нервничает, — сказал он, когда Сараев закончил.

— А чего он нервничает?

— Да уж есть от чего.

Перед лицом Сараева проплыла, отсвечивая сверху вниз, длинная нить паутины. В Успенском соборе ударил колокол. Резцов некоторое время молчал, потом уложил левую голень поперек скамейки и, упершись в нее рукой, повернулся к Сараеву.

— Ладно, скажу. Тут слух прошел, что к нему его революционная жена собирается приехать. Оказывается, у нее сыну уже два года, здоровый парень, Майдан Прохорович. Кстати, как тебе такая вариация на тему «сапожник без сапог»? Вот потому наш книжник на людей и бросается. Нервишки-то ни к черту. Опять же пьют много. Хорошо хоть работа на свежем воздухе.

— Ты постарался? — спросил Сараев.

— А какая разница? Все тайное становится явным. А уж как и через кого — дело десятое.

Далее Резцов без экивоков рассказал о том, как он отыскал некую Одарку, и об их переписке. Речь у него была и так быстрая, а тут, видно, стараясь успеть к при-

ходу заказчиков, он заговорил еще быстрее, перескакивая с одного на другое, и Сараев едва его понимал.

— Вот, со дня на день ждем. Встретимся, поговорим. Сначала она мне подробно расскажет за бутылочкой про их романтические приключения, а потом я поведу ее к нему в чертоги, — закончил Резцов.

— Не понимаю я этой вашей лютости. Вы так до смертоубийства довраждуетесь, — сказал Сараев.

Резцов хмыкнул.

— Лютости? Какая же это лютость? Это пока так, водевиль. Лютость будет немного позже, когда я его, суку, в асфальт вколочу по макушку. По самую, самую шляпку! Заподлицо!

На последних словах Резцов так резко и сильно ударил два раза кулаком по фанерной столешнице, что Сараев испуганно схватился за чашки, а собранные орехи посыпались на землю. В эту секунду во дворе появились ожидаемые гости. Резцов вскочил и, потирая ребро ладони, пошел им навстречу. Сараеву же ничего не оставалось, как стушеваться.

Только на улице он вспомнил, что шел к Резцову за деньгами, и от досады выругался. К тому же получилось так, будто он приходил с единственной целью пожаловаться на Прохора, чего никогда бы не стал делать. Что и говорить, на редкость дурной выдался денек. Может быть, поэтому, увидев у себя в переулке стоявший у «Виктории» джип таможенника Демида, Сараев неожиданно для себя обрадовался. Впервые за всё время их знакомства.

V

Демид сидел в подвале и, как всегда, когда он был во хмелю, с застенчивой и плутоватой улыбкой глядел по сторонам. Сегодня на нем был синий служебный мундир.

«И всё-таки, до чего ж странный человек!» — лишний раз подивился Сараев, особо при этом отметив неизменно свежий цвет лица таможенника.

— Вы в конец света в двенадцатом году верите? — спросил Демид, проводя ладонью по деревянной панели над столом и внимательно вглядываясь то ли в ладонь, то ли в фактуру дерева.

Сараев пожал плечами.

— Чем-то расстроены? — поинтересовался таможенник.

Сараев откровенно рассказал о своих материальных затруднениях. Демид выложил перед ним две сто-долларовые купюры и сказал:

— Вернете, когда сможете.

Потом он купил белого вина, и они пошли к Сараеву.

Сидевшая на веранде с журналом соседка Наташа, увидев Демиду в мундире, не сводила с него глаз, пока они поднимались по лестнице и шли до двери.

У Сараева Демид был четвертый или даже пятый раз, но с тем же любопытством, что и в первый, прошелся по комнате, заглянул в спальню, вышел на балкон и в конце концов остановился напротив отделан-

ного карельской березой комода со стоявшим на нем «Телефункеном»; нежно пройдясь ладонью по крышке приемника, снял с нее бронзовый бюст.

— Странно: Чехов, и без пенсне.

— Это Дзержинский, — сказал Сараев. — Купил на Староконном, орехи колоть.

Он сходил на кухню и принес стаканы.

— Мне что-то расхотелось пить вино, — вдруг заявил Демид.

Сараев поднял на него вопросительный взгляд.

— А что это за девица на веранде?

— Наташа. Соседка. Она немножко того, — Сараев постучал пальцем по лбу.

— Я воспользуюсь, если не возражаете, — сказал Демид и вышел.

В середине минувшей весны, сырым черным вечером, этот странный человек остановил Сараева возле филармонии. Лицо было знакомое: однажды они столкнулись в дверях у Миши Сименса — реставратора и торговца трофейными немецкими приемниками. В этот раз, нагнав Сараева, Демид протянул ему руку со словами: «Здравствуйте. Можно с вами познакомиться?» Хорошо выбритый, прилично одетый, слегка выпивший. Сараев пожал мягкую ладонь, и они представились друг другу. «А могу я вас сразу попросить об одолжении?» — сказал, смущенно улыбаясь, новый знакомый. Человек в затруднительном положении, почему бы не помочь, подумал Сараев и согласился. Тогда Демид предложил ему кое-куда подъехать, недалеко.

Это Сараеву понравилось уже меньше, но застенчивая благожелательность и мольба в глазах просителя обезоруживали. На попытки Сараева узнать, куда и зачем, Демид уклончиво отвечал: «Не бойтесь, всё в порядке! Для вас это тоже будет приятным сюрпризом, увидите...» Сараев и мысли не мог допустить, что причиной была какая-то его известность, но, кроме как связать просьбу со своим режиссерским прошлым, ему ничего не могло прийти в голову. Он согласился. Демид поймал такси и привез его в Мукачевский переулок, где они вошли в один из больших новых домов; поднялись на седьмой, кажется, этаж. Открыла им женщина, которую Сараев успел увидеть только со спины — так быстро она исчезла. До слуха Сараева донеслись недовольные нотки, но Демиду это ничуть не смутило. Он быстро провел Сараева по коридору просторной, со вкусом отделанной и, судя по всему, небедной квартиры, и они вошли в большой уютный кабинет с камином, книгой на пюпитре возле окна и негромко звучащей музыкой. Навстречу им с дивана поднялся худощавый средних лет человек болезненного вида, назвавшийся Алексеем и который, по мнению Демиды, был как две капли воды похож на Андрея Сараева. В этом и заключался смысл визита. Ни хозяин, ни гость восторгов Демиды не разделили, да и особой похожести, сколько он их ни науськивал друг на друга, не обнаружили — так, некоторое сходство. Они смущенно поулыбались, перекинулись несколькими фразами, и Сараев откланялся. Еще тогда во всем этом предприятии ему почудилась

какая-то темная изнанка. Месяца два спустя он столкнулся лицом к лицу с Демидом на Итальянском бульваре, и тот потащил его в ресторан в Отраде, где, едва сдерживая слезы, сообщил о недавней кончине друга Алексея. Сараев вспомнил тусклую улыбку названного близнеца, то, как он сидел на краешке дивана, втиснув сложенные ладони между коленями, и его вдруг осенило: а ведь сходством, так поразившим Демида, Алексея наверняка наделила его смертельная болезнь. И, вероятно, уже на последней стадии. Но тогда каково же было ему, умирающему, видеть радостное возбуждение товарища и невольно участвовать в его странной и даже кошунственной затее!.. После вечера в Отраде Демид стал время от времени навещать Сараева, и как-то раз привез ему кое-что из вещей покойного Алексея: два костюма, несколько рубашек, легкие летние туфли и кашемировое пальто — всё новое, по уверению Демида, ни разу не надеванное. У Сараева и без того после их встреч оставалось неприятное ощущение, что ему отведена роль замены, а тут он даже растерялся, но отказаться от подарков не решился.

— Кино снимаете? — спросил таможенник, входя и потирая руки.

— Нет, что вы! И не начинал.

— Да? А мне показалось, столько времени прошло... Когда злоупотребляешь этим делом (он ногтем постучал по стакану), все координаты сбиваются. Иногда, после некоторых эксцессов, это даже радует. Как-то освежает, что ли. Вам такое ощущение знакомо?

Сараев пожал плечами.

— Насчет «радует» и «освежает» вряд ли. Но какое-то обновление... да, что-то есть...

Они помолчали. Сараев пожалел, что пригласил Демида. В подвале можно было хотя бы по сторонам поглазеть, а паузы в разговоре заполнялись шумом и музыкой.

— И на какой вы теперь стадии?

— ?

— Насчет фильма.

— Да как вам сказать... Всё на той же. Нужен сценарий, а его пока нет.

— У меня был один знакомый писатель. Эконома такого не знали? — спросил гость. — Эконом — это фамилия. Румынская, что ли? Почему тогда не Экономеску?.. Ну, ладно. Не слышали о таком?

— Нет.

— Вот он, наверное, смог бы вам что-нибудь написать. С фантазией человек. Мне у него один рассказ запомнился. Про некоего ребе Элиягу. Или Элияху, как правильно? Вообще-то на самом деле он был русским чи вкраинцем, но с юных лет выдавал себя за еврея. Тянуло его к ним. Считал, что вся сила и мудрость только у них. И так он отлично в этом деле натакался, что никаких подозрений ни у кого не вызывал, а в конце позапрошлого века приехал в Одессу уже готовым раввином и поселился где-то на Слободке. И вот он решил соорудить себе голема. Очень уж силен он был во всей этой каббалистике. В общем, вы-

махал у него такой амбал метра за четыре ростом, а тут как раз сон в руку: девятьсот пятый год, погром. Снимает он это чудище с цепи и приказывает: давай, друже, вперед, защищай наших. Вот тут-то истинная природа наружу и полезла. И вместо того чтобы оборонять синагоги, голем пошел их крушить. А в конце еще и прибил своего создателя, когда тот решил его урезонить. Ничего так повесть, я с интересом читал. Задумано неплохо, но исполнено вяло. И название совсем никуда. «Одесский Голем». Сухо как-то. Почти как «Одесский вестник». Ну и финал подкачал. Я бы, например, сделал так, чтобы этот голем-антисемит встретил другого голема, но уже от настоящего раввина. Вот это была бы кульминация. Встречаются они лоб в лоб где-нибудь на Пантелеймоновской возле Привоза. Первый второму говорит: «Скажи „кукуруза“» (между прочим — хорошее было бы название), и понеслась. Представляете? Битва титанов. Фонарные столбы, деревья с корнем, трамваи, или что там тогда было?.. конки?.. Всё через улицы летает, Привоз по швам трещит... Феерия!

— А разве голем умел говорить?

— Ну, этот умел бы. Более совершенная модель. Кстати, чем вам не сценарий? Предложите вашему продюсеру. Эконома этого я давно не видел, но, если надо, найдем. Покупайте права — и вперед. А-а-а, да, понял, не годится, вам что-то камерное нужно. Жаль. Интересно, куда он подевался? Писатель. Раньше я его часто в городе встречал.

Литературно-художественное издание

Сергей Шикера

Выбор природы

18+

Художественный редактор *Павел Лосев*

Редактор *Аглая Топорова*

Корректор *Антонина Семенова*

Компьютерная верстка *Наталии Ремизовой*

Подписано в печать 10.02.2019. Формат 84 x 108/32

Бумага офсетная. Печать офсетная

Усл. печ. л. 21,84. Тираж 1000 экз. Заказ

ООО «ИД „Флюид ФриФлай“»

109382, Москва, ул. Краснодонская, д. 20, корп. 2

тел.: (985) 8000 366

www.fluidfreefly.ru

e-mail: info@fluidfreefly.ru,

levental.bookshelf@gmail.com

Интернет-магазин: gorodets.ru

Главный герой книги — бывший кинорежиссер, которому вдруг выпадает шанс вернуться в профессию. Шанс, однако, оказывается призрачным, в отличие от неприятных, странных, сбивающих с толку обстоятельств, которые наваливаются на героя одно за другим. Само место действия романа, Одесса — оказывается не всем известным городом анекдотов, шаланд и кефали, а мерцающим, мистическим, едва ли не inferнальным пространством.

